

МЕЖДУ ДЕЛОМ

(Неизданный вариант из «Недоконченных бесед»)

Публикация и предисловие Н. Яковлева

ЩЕДРИН И БЕЗОБРАЗОВ

«...Знаете ли вы, что такое Баден-Баден — этот маленький европейский Вивилончик — это помойная яма, куда стекают помои цивилизованного общества... Какое общество! какое нестройное смешение всего — красоты и порока, роскоши и продажности, пустоты и тщеславия! Недаром здесь такая бездна русских! Богатство таулетов наших петербургских и московских дам, являющихся три раза в день на променады, превышает всякое вероятно... Одна из дам... м-м Корвилли, та самая, от которой застрелился или зарезался бедный Милютин, ...нынче остановила меня на улице и пригласила на... праздник, верст за 5 от Бадена. На прогулке не раз встречал я женщин такой ангельской кроткой красоты, таких милых и обворожительных, и что ж? Все эти ангелы продажны и ценят себя недешево — 100 франков, 500 франков. За весьма короткий миг обладания. В этой сфере может ли быть и намек о любви, и жаль смотреть, как наша богатая молодежь погибает в сетях этих гурий. Дурасову три недели в обществе одной из них стоили 20000 франков!!!»

Так писал в 1857 году поэт-парнасец Я. П. Полонский. Свои впечатления он выразил даже в стихах, в послании к другому поэту-парнасцу А. Н. Майкову («Голос Минувшего» 1919, № 1—4, стр. 127). Что же после этого должен был говорить желчный сатирик, один из виднейших литературных представителей народнической демократии, когда он очутился в Бадене-Бадене в 1875 г., то-есть вскоре после разгрома Парижской коммуны, которая заставила все европейское «общество» сперва содрогнуться, а затем с новой силой предаться вакханалии?

В своих письмах 1875—1876 гг. из Баден-Бадена и Ниццы Салтыков называет эти модные курорты «благовонными дырами» и даже непотребным домом (подлинное выражение нелитературно), а их обитателей — «всесветными хлыщами» и «кокотками, признанными законом честными женщинами и матерями семейств», повидимому не считая даже нужным упоминать о настоящих кокотках.

«Сегодня в полдень... ездил ...берегом моря; с одной стороны вода без конца, местами голубая, местами зеленая, а с другой — высочайшие горы. И везде виллы, в коих сукины дети живут. Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам — ужасно много портят крови...» («Письма», ГИЗ, 1924 г., № 93).

Особую ненависть вызывали в Щедрине «русские гулящие люди за границей», «откормленные идиоты», «свиньи». В результате этих наблюдений у него возникла «Книга о праздничноатающих», переименованная затем в «Культурных людей» («Отеч. Записки» 1876, кн. I). Начинается она знаменитым сопоставлением «конституции» и «севрюжины с хреном». Но еще ранее был написан гораздо менее известный четвертый очерк из серии «Между делом» («Отеч. Записки» 1875, кн. IX). Здесь рассказывает, как автор со своим другом Глузовым посещает некоего Износкова, их школьного товарища. Этому Износкову еще на школьной скамье сочинили родословную: отец — Бычок, мать — Светлана, бабка — Резвая от Громсбоя и Гориславы, прапращур — сам

Синеус (замечательно сплетение двух генеалогических линий: феодально-дворянской и коннозаводской). В момент рассказа Износков являет собою подлинного представителя русского «культурного слоя». Он весь поглощен вопросами «туалетной науки», интересами жилетов и штанов и всякого рода уходом за своим на диво раскормленным и выхоленным телом. Когда разговор их переходит наконец к вопросу о тяжелом положении русской литературы, то оказывается, что Износков «по-русски давно ничего не читает», «считая нашу литературу помойной ямой, в которую сваливаются все общественные нечистоты». Тем самым дальнейшая беседа становится затруднительной, хотя Износков любезно и впредь приглашает к себе старых товарищей.

Продолжая размышлять на тему о положении русской литературы и отношении к ней различных общественных групп, Салтыков от «культурных людей», Износковых, перешел к охранителям культурного благополучия, блюстителям дворянско-буржуазного порядка, сотским, исправникам, прокурорам. Но этот сюжет оказался конечно слишком опасным для расширенной литературной разработки. Только что перед этим цензура вырезала из сентябрьской книжки «Отечественных Записок» четвертую главу «Экскурсий в область умеренности и аккуратности», посвященную анализу передовицы в либерально-молчалинской газете «Чего изволите?» на тему: «О числе и качествах городских»¹.

Тогда Щедрин перешел к вопросу об отношении к литературе русских ученых. В результате этого и возник ныне публикуемый пятый очерк из серии «Между делом» как прямое «продолжение» четвертого. Салтыков предназначал его для ноябрьской или декабрьской книжки «Отечественных Записок» 1875 г. и уже сдавал в набор (рукопись хранит типографскую разметку). Но печатанию что-то помешало: или цензура, или спасения, что в очерке будет узнан один из его старых знакомых и даже друзей.

После двух-трех беглых сатирических зарисовок различных ученых специалистов Щедрин дает в этом очерке развернутую художественную характеристику — образ ученого экономиста Никанора Полосатова. Рассказ начинается со школы и доводится до зенита славы этого «фризового ученого», в котором современники могли бы заподозрить Владимира Павловича Безобразова.

В самом деле вслед за одним товарищем по школе, Износковым, перед нами является другой — Полосатов. Безобразов же был по лицу немного младше Салтыкова.

Воскрешается школьная, лицейская обстановка. Щедрин рассказывает между прочим о «директоре заведения, старом генерале, страстно любившем фехтовать». Директорами лицея при Салтыкове были сначала «генерал-майор Федор Григорьевич Гольтгоер, бывший директором.... кадетского корпуса, называвшегося дворянским полком», а затем «начальник штаба первого резервного кавалерийского корпуса генерал-майор Дмитрий Богданович Броневский»². Этот последний и был вероятно любителем фехтования.

Интересна еще одна повидимому лицейская черта. Щедрин в настоящей очерке приписывает ее самому Полосатову, это — составление сочинений на темы сначала — о кнуте, а потом — о треххвостной плети «перед судом правды и справедливости». В другом своем произведении, немного более позднем, «За рубежом» (1880—1881), Щедрин опять вспоминает о школе и воспроизводит ту же самую черту, только приписывая ее на этот раз одному из профессоров (см. главу II).

Укажем также, что в одном своем более раннем произведении, «Гостодах ташкентцах» (1872), Щедрин выводит еще одного мальчика-экономиста, только с менее ученым, более практическим уклоном, оказавшего большие успехи в деле усвоения «науки о спросе и предложении». Это — Порфиша Велентьев из «Параллели четвертой», имевший так сказать тройную наследственную склонность к финансовым операциям (отец — взяточник в качестве советника питейного отделения; мать — помещица-кулак; дяди, по матери, — конские барышники и карточные игроки, научившие мальчика волшебному слову «клац» со всякими последующими фокусами).

Вряд ли можно сомневаться в том, что такое упорное повторение этих «криминалистических» и «политико-экономических» воспоминаний в связи со школой соответствует каким-то действительным впечатлениям юношеских лет Салтыкова. Но нам важно не это соответствие щедринских образов с действительностью, а тот литературно-социологический и политический смысл, который вкладывает Щедрин в это изображение за-

КАРИКАТУРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЛИЦЕЯ — ПРОФ.
П. Е. ГЕОРГИЕВСКОГО (ЛИЦЕЙСКОЕ
ПРОЗВИЩЕ «ПЕПА») *

Из альбома лицейских карикатур
1839—1841 гг.

Институт Русской Литературы,
Ленинград



рождения в недрах феодально-дворянского привилегированного учебного заведения будущих деятелей буржуазно-промышленной России.

Щедрину не пришлось показать взрослого Порфирия Велетьева как «ученого» организатора каких-нибудь грандиозных торгово-промышленных предприятий, превосходящего широтой и глубиной замыслов других наших самородных капиталистических во- ротил.

Возможно, что причиной этого явилось отсутствие настоящей натуры. Зато замечательно удался ему тип ученого эксперта-экономиста, работающего в двух-трех министерствах, вечно разъезжающего по России в командировках и экспедициях, пишущего статьи и исследования, читающего лекции и доклады, наконец собирающего у себя на вечерах виднейших представителей правительственных финансово-хозяйственных учреждений и частнокапиталистических торгово-промышленных и финансовых предприятий. Здесь натурой ему вполне мог служить упомянутый выше Владимир Безобразов.

В нашем очерке автор сообщает о себе, что по выходе из школы он «запропастился куда-то вглубь». Под этим очевидно разумеется ссылка Салтыкова в Вятку. Неважно конечно, что вернулся Салтыков опять в Петербург через семь, а не «двенадцать» лет. Добавим к этому, что в первые годы, по возвращении, Салтыков поддерживал с Безобразовым довольно близкие отношения. Безобразову посвящена пьеса Щедрина «Смерть Пазухина» (отдельное издание 1857 г.). При посредстве Безобразова началось сотрудничество Салтыкова в «Русском Вестнике», после того, как Некрасов отказался печатать «Губернские очерки» в «Современнике». По воспоминаниям Л. Пантелеева³, Салтыков и Безобразов даже жили в то время на одной квартире. Вероятно эти годы имел в виду сам В. Безобразов, когда писал позднее в своем дневнике, что «прежде был так близок» с Салтыковым⁴.

Сохранилось шесть писем Салтыкова конца 60-х годов к В. Безобразову из Рязани, где Салтыков в то время был вице-губернатором. В этих письмах Салтыков благодарит Безобразова за присланные ему журнал Министерства государственных имуществ и книгу (повидимому «Материалы для физиологии общества в Германии», М., 1859 г.), приглашает приехать к нему в Рязань, просить похлопотать о месте вице-губернатора в Твери в виду своего расхождения с рязанским губернатором Муравьевым⁵.

* Более подробное описание этой и других карикатур, воспроизведенных в данной публикации, см. в сообщении М. Калоушина «Салтыков в лицее», помещенной в этом томе.

Уже в то время Безобразов был человеком влиятельным в столичных бюрократических кругах, работал в трех министерствах (кроме указанного выше, еще в министерстве финансов и военном), а также в Русском географическом обществе и вскоре был избран адъюнктом Академии Наук. С середины 70-х годов Безобразов был уже тайным советником и членом Совета министерства финансов, читал лекции в лицее и великим князьям. Л. Слонимский указывает на достоинство специальных работ Безобразова по различным вопросам практической экономики и финансов⁶, но широкой публике были более известны многочисленные публицистические статьи Безобразова, в которых он постоянно выступал экспертом от науки, освещая ее авторитетом различные правительственные мероприятия. Большой известностью также пользовались организованные Безобразовым «экономические обеды», на которых встречались высшие государственные чиновники и торгово-промышленные и финансовые деятели и происходили обсуждения различных хозяйственно-политических вопросов.

Отношения Салтыкова и Безобразова испортились повидимому в конце 60-х годов. В октябрьской книжке «Русского Вестника» за 1869 г. Безобразов поместил статью «Наши охранители и наши прогрессисты», в которой между прочим несколько раз полемически цитировал различные статьи Салтыкова в «Отечественных Записках». Статья кончалась призывом к борьбе под «знаменем» «России и ее обновления» против «неблагонадежных материалов» и «неблагонадежных понятий»... В числе их естественно оказывались цитированные мнения Салтыкова. Статья эта глубоко задела Салтыкова. Он немедленно реагировал на нее анонимной статьей под названием «Человек, который смеется» в ноябрьской книжке своего журнала. Но тут же выразился настоящий подход Щедрина к деятельности Безобразова, более глубокий, чем личная обида и, по существу, ничем с нею не связанный. Дело в том, что Безобразов в указанной статье своей «Наши охранители и наши прогрессисты» рассказал о том, как один подрядчик обчислял несколько сот рабочих на постройке железной дороги, но рассказал не для того, чтобы глубоко этим возмутиться, а «просто на смех», «ради шикарности и пикантности» этой истории. Щедрин и начинала с того, что протестует против подобных «бесплодно-свистопляшесствующих статей» и, тем самым, возвращает Безобразову его обвинение — кличку, брошенную по адресу прогрессистов («беззаветные свистуны»).

Таким образом в дальнейшем нам предстоит проследить две линии в высказываниях Щедрина о Безобразове: во-первых, парирующую личный удар—обвинение в неблагонадежности; во-вторых, обличающую махрово-буржуазный грюндерский характер литературной деятельности самого Безобразова как ученого прислужника расцветающего российского промышленного капитала и буржуазной монархии.

Начнем с первой. Не ограничившись одним ответом («Человек, который смеется»), Щедрин неоднократно возвращается к статье Безобразова («Наши охранители и наши прогрессисты») на протяжении нескольких лет. Так в 1870 г., говоря о ревизии в Пермской губернии, Щедрин непременно ввернуть, что там «не слышно... о вторжении вредных и неблагонадежных элементов (особенный вид преступности, рекомендуемой академиком Безобразовым, но, по неясности признаков, до сих пор в уголовный кодекс не внесенный)» («Итоги», глава II).

Наконец все о том же обвинении в «неблагонадежности» со стороны Безобразова Щедрин вспоминает еще в 1882 г. в «Письмах к тетеньке» («Письмо десятое»).

Но Щедрин полемизировал с Безобразовым не только в связи с указанной статьей. В 1870 г. например в «Письмах из провинции» он язвительно высмеял пресловутые безобразовские экспедиции по России («Письмо двенадцатое»). Далее, в «Дневнике провинциала» (1872) Щедрин рассказывает между прочим об отставных корнетах, пишущих разные проекты и записки со ссылками на авторитеты «Токевиля... и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а из отечественных публицистов — академика Безобразова и князя Мещерского» (глава III). В том же «Дневнике провинциала» в главе VI Щедрин, заставляя Нескладина прочесть статью о «распределении налогов», очень остроумно пародирует статьи Безобразова (хотя под автором этой статьи-пародии, Нескладным, принято как будто подразумевать К. К. Арсеньева).

Затем в 1873 г. Щедрин живописал, как помпадур Феденька Кротиков и помпадурша Анна Григорьевна Волшебнова «читали статьи В. П. Безобразова и удивлялись тому,

что такая плодотворная вещь, как кредит, не только не оплодотворяет Навозного, но даже служит как бы к запустению» («Помпадур борьбы или проказы будущего»).

Наш очерк является таким образом хорошо подготовленным целым рядом предшествующих кратких, но метких замечаний, отдельных, но ярких и резких штрихов. Читатель не найдет и здесь никаких «личностей» Щедрина против Безобразова.

Начатое в «Между делом» Щедрин dokonчил в «Письмах к тетеньке». Здесь дана вторая половина художественной характеристики Безобразова, уже маститого ученого, академика, хозяина-организатора «экономических обедов».

Об этих обедах Щедрин неоднократно вспоминает и до того, в конце 70-х годов, в рассказах: «Дети Москвы» (1878), «Дворянская хандра» (1878), а в «Современной идиллии» (1877) «собеседования, производимые на экономических обедах» и «воспоминания» о них введены даже в полицейский «Устав о благопристойном обывателей в сей жизни поведении», § 1, ст. ст. 6 (пункт г.) и 23 («Глава VIII»).

Вторая половина жизнеописания характеристики Полосатова—Грызунова—Безобразова, дополняющая первую половину Полосатова—Безобразова, дана Щедриным в двенадцатом из «Писем к тетеньке».

«С тех пор прошли годы. Грызунов немедленно принялся оправдывать возлагаемые на него надежды. Сначала он сделался «нашим молодым и блестящим экономистом», потом — «нашим известным экономистом» и наконец — «нашим маститым экономистом». Писал он изобильно и легко, писал обо всем, об чем взгрустнется... И об том, отчего мы бедны, и об том, отчего у нас во всем изобилие; и о том, что изобилие уменьшает цену на предметы, и о том, что хотя вообще говоря, изобилие и уменьшает цену



КАРИКАТУРА
НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И
СЛОВЕСНОСТИ АЛЕКСАН-
ДРОВСКОГО ЛИЦЕЯ —
ПРОФ. Ф. А. ДЕ-ОЛИВА

Из альбома лицейских ка-
рикатур 1839—1841 гг.

Институт Русской Литера-
туры, Ленинград

на предметы, но «в то же время, до известной степени и увеличивает ее». Словом сказать, возьмет из кучи любой вопрос и без труда на него ответит. Природа даровала ему железную поясницу и чугунное при ней днище, и он с признательностью пользовался этим даром. Сядет, посидит, и сколько посидит, столько напишет. Урвет что-нибудь у Бастиа, или у Рикардо, или даже у Кокорева («некто о глазомере в связи с смекалкою»), а скажет, что сам выдумал. И, написавши, сидит некоторое время дома и ждет, что его позовут: пожалуйста, Иван Александрович, министерством управлять. Ждал он таким образом целых двадцать пять лет; его не раз звали, но всегда дело оканчивалось тем, что его же спрашивали: «ах, об чем, бишь, нужно было с вами поговорить?» Значит, звать звали, а призвать, не призвали. Как это случилось — он не понимает, да и я, признаюсь, не понимаю. Человек знает, отчего монета кругла (а может быть и отчего кругла земля?), а никому до этого как будто дела нет. Не повезло ему — вот и все. Иногда он впадал в уныние от этой несправедливости, но вера, что никому в целой России неизвестны так близко тайны спроса и предложения (а это, тетенька, позамысловатее «Тайн мадридского двора») — спасала его. Несмотря на длинный ряд неудач и разочарований, всякий раз (и это в течение всего двадцатипятилетнего периода!), как в известных сферах возникало движение, он вновь начинал волноваться, надеяться и ждать. Несомненно, ждет и поднесь.

Это постоянное, страстно-выжидательное состояние оказывает известное влияние и на его отношения к людям. Когда в воздухе носятся либеральные веяния, он льнет к либералам, а консерваторов называет изменниками. Когда на рынке в цене консерватизм, он прилепляется к консерваторам и называет изменниками либералов. Но это в нем не предательство, а только следствие слишком живучего желания пристроиться.

Я думаю, что Грызунов не жаден, и охотно удовольствовался бы половинным содержанием, если бы его призвали. Я даже думаю, что в сущности он и не честолюбив. Он просто знает свои достоинства и ценит их — вот и все. Но так как и другие знают свои достоинства и ценят их, то он и затерялся в общей свалке.

В тех же «Письмах к тетеньке» («Письмо пятнадцатое») автор в беседе с Глузовым еще раз вспоминает «нашего общего друга Грызунова».

Отметим попутно, для интересующихся лично-биографической стороной отношений Салтыкова и Безобразова, что слова Щедрина: «Меня Грызунов долгое время не любил» и т. д., — получают подтверждение в дневнике Безобразова: «Он (Салтыков. — Н. Я.) был рад меня видеть (по словам Боткина), хотя обыкновенно не показывал этого». Значит, встреча Салтыкова и Безобразова, на даче у Боткина, под конец жизни обоих (в 1887 г.), прошла в дружественном порядке. Хотя Безобразов, в том же дневнике, все же не преминул посвятить на «дикий», невозможный характер Салтыкова, «отдаливший от него всех», кроме А. М. Унковского и В. П. Гаевского (тоже либерсты), как людей «неслыханной доброты», в 1889 г., узнав о смерти Салтыкова, в дороге во время командировки, Безобразов немедленно послал семье сочувственную телеграмму, а затем написал некролог («Новости» от 17 мая 1889 г., № 134).

Подведем итоги. Нельзя не признать, что Щедрин сумел создать достаточно цельный и ценный художественный образ Велентьева—Полосатова—Грызунова как ученого прислужника русского капитализма и буржуазной монархии. Но обобщающая сила этого образа была бы еще больше, если бы он был лишен тех (лично-биографических, безобразовских) черт какой-то доброты, рыхлости, простоватости, которыми наделил его Щедрин. Иначе, и гораздо вернее, подошел к этим «ренегатам из семьи профессоров» Некрасов, давший в своих «Современниках» незабываемые образы «ученых» Швабса и Леонида, мечтающих остричь разом весь мир.

Н. Яковлев

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. «Язык и литература», т. I, 1926 г.

² Кобяко, Д., Царскосельский лицей, 1811—1843. Петербург, 1911, стр. 204, 425.

³ «Из воспоминаний прошлого», т. II, стр. 151—152.

⁴ «Русская Старина» 1909 г., кн. 12, стр. 524.

⁵ См. «Новое Время» 1900 г., № 8879 и «Голос Минувшего» 1912 г., № 2.

⁶ «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», т. II, стр. 306 и сл.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Свидание с Износковым произвело на меня скверное впечатление. Есть в жизни условия, на которые лучше не открывать глаз; неприятно и унижительно бродить в темноте, но еще неприятнее и унижительнее получить такие разъяснения, которые не только не устраняют темноты, но представляют ее как неотвратимый факт, и не подают никакой надежды на выход из нее. В жизни русской литературы есть тайна и на дне этой тайны сидит «шлющия» русский человек, из породы тех, которых в просторечии называют прохвостами. Этот человек, праздный, невежественный, не знающий куда преклонить голову, поглощенный интересами жилетов и штанов, — этот человек имеет какое-то соприкосновение с литературой, воздействует на нее, и ежели не произносит прямо: *vos ego**, то потому только, что русский язык выработал гораздо более целесообразное выражение: в бараний рог согну!

Этот человек игнорирует литературу [он даже не без шика говорит: я по-русски давно ничего не читаю], но, взамен того — презирает ее. Этот человек неразвит и невежествен до бестияльности, но так как на нем штаны от Тедески и сюртук от Жоржé, то этого достаточно, чтоб он присвоил себе название представителя культурного слоя. Он — человек культуры, а литература — это сброд темных и подлых людей, не имеющих об культуре никакого понятия! И что всего страшнее, этот человек чувствует, что он сила, что он и ему подобные представляют в некотором смысле «контингент». Не сказка ли это?

Еслиб Износков был единичным явлением, он был бы только скучен, но безвреден; но двое Износковых уже не безвредны, потому что вдвоем они могут уже комплотировать. Пойдите дальше, представьте себе целый легион Износковых, которым, по причине их праздности, ничего не остается, как комплотировать — и вы убедитесь, что тут есть уже действительная опасность, что это своего рода дамоклов меч, постоянно висящий над головой. Насколько достойны посмеяния эти люди, взятые по одиночке, настолько же страшны они, взятые скопом.

Говорят: литература уклонилась от благородного пути, что она пошла путями извилистыми и подлыми путями, угрожающими утопить историческую русскую культуру в хаос наплавных элементов, не имеющих ничего общего с культурой. Но позвольте же, милостивые государи! Во-первых, все это одни слова, опровергаемые вашим собственным наивным признанием, что русская литература для вас *terra incognita***, а во-вторых, позволительно еще усомниться, кто имеет больше прав указывать пути, которым должна следовать литература: сама ли литература или так называемые люди культуры, то-есть люди культуры потолику, поколику надетый на них фрак удовлетворяет последним требованиям портного искусства?

Нет, дело не в путях, а в том, что задачи новой русской литературы сделались строже и яснее. Литература не забавляет больше, а призывает к самосознанию и к делу. Как бы ни многообразны и несходны были понятия о предстоящем деле — все-таки дело, а не безделье представляет литературный *point de mire****. Вот тот нож острый, который так не попутру «шлющимся» людям. Им противна самая мысль об «деле»; даже такое дело, как дело «Домашней Беседы» — и то тяжело, непосильно для них. И вот почему они так охотно останавливаются на «заблуждениях», маскируя этим словом самую простую ненависть к делу. Если бы литература, попрежнему, вела речь об улучшении быта безделицы — она

* Я вас!

** Неведомая страна.

*** Цель.

могла бы блуждать и заблуждаться в этой области сколько угодно; но она блуждает в какой-то совершенно новой области, именуемой «делом» — и вот это возбуждает против нее целую бурю негодования и сквернословия!

А между тем, влияние этих людей на литературу бесспорно и решительно. Ради них она утопает в недомолвках и оговорках, ради них она сохраняет эзоповские формы. Где она найдет для себя противовеса, на который она могла бы опереться в борьбе с людьми культуры? Где тот читатель настолько сильный, чтоб она могла ожидать от него защиты и спасения? Ради их... но ради их ли одних? Вот Глузов уверяет, что культурные герои бездельны далеко не одиноки в этом случае; что русские ученые, и русские исправники, и русские прокуроры, и русские сотские все одинаковым образом относятся к русской литературе, т. е. все высокомерно ее игнорируют и в то же время все видят в ней или буфонство или угрозу.

Что господа исправники относятся к русской литературе недоверчиво — это довольно понятно: им и без того дела по горло. Никогда еще вопрос о мерах ко взысканию недоимок не получал такого развития, и в то же время никогда так пропорционально мерам взыскания не развивались самые недоимки. Чем больше стараются взыскивать, тем больше получается поводов для дальнейших стараний. Вся жизнь сгорает в бесплодных усилиях «очистить уезд», и ради этой перспективы забываются и комфорт, и личные интересы, и даже семья. До литературы ли тут, когда поесть путем времени нет? Притом же литература ведет себя как-то странно: она говорит о производстве и накоплении ценностей, об истреблении же их умалчивает. Вопрос: что такое продажа крестьянской коровы ради уплаты недоимки? Есть ли это производство ценностей или истребление их? Вот что должна решить литература, и решить непременно в смысле производства, а не истребления; а до тех пор, покуда это не будет сделано, все декламации литературы о производстве и накоплении будут не что иное как личное оскорбление господ, на заставах команду имеющих, а вся литература — сквернословием.

То же самое должно сказать и относительно господ прокуроров. Они тоже всецело заняты ограждением общества от напыльа неблагонадежных элементов, и тоже чем больше стараются оправдывать доверие начальства, тем больше получают поводов стараться оправдывать начальственное доверие. И для них возникает вопрос: что такое преследование и ловля неблагонадежных элементов? есть ли это производство или накопление умственных ценностей, или же истребление таковых? И дотол, пока литература не разрешит этого вопроса в пользу производства, до тех пор она будет сквернословием и опасным буфонством.

Но ученые — ведь это цвет интеллигенции; им не нужно ни недоимки взыскивать, ни преследовать неблагонадежные элементы. Интересы науки и интересы литературы должны быть одни и те же, ибо литература только популяризирует результаты добытые наукой, заботится о применении их к практике жизни, обмирщает их, делает общим достоянием.

Или быть может эта-то популяризация и кажется подозрительною? Или быть может с идеей популяризации соединяется темное предчувствие обличий в бесплодности некоторых усилий, в их совершенной оторванности от жизни, от мира явлений, рассматриваемого как гармоническое целое? Мне невольно припоминались некоторые «ученые», с которыми мне случалось встречаться в жизни. Один из них, возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был

КАРИКАТУРА
НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И
СЛОВЕСНОСТИ АЛЕКСАН-
ДРОВСКОГО ЛИЦЕЯ —
ПРОФ. П. Е. ГЕОРГИЕВСКОГО
У классной доски воспи-
танник лицея И. Н. Ни-
колаев

Из альбома лицейских ка-
рикатур 1839—1841 гг.

Институт Русской Литера-
туры, Ленинград



устроен банкет, и что на банкете этом пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия.

— Вы в этом уверены? спросил я его.

— Еще бы не быть уверенным, коль скоро я пятнадцать лет употребил на то, что Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Ивановичу Перерепенко, который и доставил на съезд урну.

— И слаще было вино из этой урны?

— Слаще-с, сухо ответил он мне, и с такою ненавистью взглянул на меня, что мне сделалось страшно.

Другой раз другой ученый хвастался тем, что он окончил давно задуманное сочинение «Домашний быт головастика».

— Понимаете, я дальше головастика не иду,— говорил он мне,— из головастика образуются лягушки, но это уж не моя область, а область моего почтенного друга Семена Семеныча Грустилова.

— Так что вы на всю жизнь предполагаете остаться при одних головастиках?

— На всю-с, ответил он мне [нрзб.].

В числе моих товарищей по школе был некто Никанор Полосатов. В то время об ученом сословии в обществе существовали совершенно особенные понятия, очень недалекие от тех, выразителями которых были пресловутые Цифиркин, Кутейкин и Вральман. Ученый человек представлялся в виде неряшливого существа, облеченного в фризовую шинель с бесчисленным количеством воротничков и заплатанные сапоги, существо, от которого постоянно несло смешанным запахом водки и чесноку. Фигура Полосатова-мальчика как-то странно напоминала собой этого фризowego ученого. Несмотря на то, что он был одет в казенную курточку и пил и ел то же, что пили и ели и прочие воспитанники «заведения», но при взгляде на него всякий говорил себе: как смешон этот маленький педант в своей желтой фризовой шинели с множеством воротничков. Он был рассеян, и ходил словно в лесу: некстати спрашивал, некстати отвечал, внезапно начинал хохотать и внезапно же впадал в угрюмость. Когда учитель риторики объяснял, что всякую мысль следует развивать при помощи

вопросов: quis, quid [нрзб.], quomodo, quando * и т. д.—то [его] поразило. Когда дальнейшее обучение объяснило, что каждое явление может быть рассматриваемо с различных сторон, с одной стороны то-то, с другой стороны то-то, с третьей то-то, то это поразило его еще более. Казалось, что он уже с малолетства облюбовывал ту бездну пустословия, которая открывалась перед ним, при помощи рекомендуемых с кафедры приемов, и что воротнички его фризовой шинельки трепетали при этом от восторга. Одна истина вдвигается в другую, другая в третью и т. д., откуда не образовался целый лес истин, в котором он и гулял. Это был очень удобный механизм вроде клавиикорд, в которых каждую клавишу можно вынуть и заменить другою. Когда мы перешли на последний курс, последовала в русской уголовной практике реформы: четыреххвостный кнут был заменен треххвостною плетью. Полосатов, который перед этим только что окончил сочинение на тему: «Кнут перед судом правды и справедливости», в котором доказывал, что злая воля преступника ничем другим не может быть так совершенно удовлетворена, как кнутом—вдруг переменял клавишу, и на место старой вставлял новую: «Плеть перед судом правды и справедливости», при чем, предпослав упражнению жестокую полемику с кнутом, доказал самым наглядным образом, что совсем не кнут, но именно треххвостная плеть есть наилучший ответ на требования, предъявляемые злою волей преступника. И чем старше он делался, тем с большею легкостью вынимал и вставлял клавиши, так что под конец заслужил уважение не только со стороны профессоров, но и со стороны директора заведения, старого генерала, страстно любившего фехтовать и потому полагавшего, что всякая наука должна обучать своих адептов ловким ударам и умению обмануть противника.

После выхода из школы, я потерял из вида Полосатова; он остался в Петербурге, я запропастился куда-то вглубь. Но я никак все-таки не думал, что из него выйдет ученый. Я полагал, что он сделается со временем отличным начальником отделения и будет с изумительною ловкостью вынимать и вставлять клавиши по манию директора департамента. Захочет директор написать: «с совершенным почтением имею честь быть»,—он напишет: «с совершенным почтением имею честь быть»; захочет директор написать: «примите уверение в совершенном почтении»,—он напишет: «примите уверение в совершенном почтении». «И преданности», прибавит директор—«и преданности», повторит и он. Увы! я совершенно упустил из вида опять ту фризovou шинель, которую я видел на нем в школе, видел, несмотря на то, что в натуре ее не было.

Лет через двенадцать я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не как тягловой работник, а как эксперт от науки. Это было время нашего возрождения; время возникновения акционерных компаний и неслыханного развития железных дорог. Полосатов прежде всего обратил на себя внимание сочинением «Оплодотворяющая сила железных дорог», в котором очень тесно посмеялся над гужевым способом передвижения товаров и людей и доказал как дважды два четыре, что с развитием железных дорог капитал получит такую быстроту обращения, что те проценты, которые до сего времени получались с него один раз, будут отныне получаться десять, пятнадцать, двадцать раз. Всем тогда показалось это и просто и удивительно. Просто, потому что ведь и в самом деле... это так просто! Удивительно, потому что в самом деле странно как-то, что до Полосатова никто и не догадался подумать об этом. Мне и самому, когда я читал сочинение Полосатова, показалось оно какою-то шехеразадою.

* Кто, что, каким образом, когда.

Катится-катится капитал по железной дороге с быстротою молнии, получает проценты, потом катится назад и опять получает проценты, и опять, и опять катится...

Потом он написал еще статью: «Единственный в своем роде случай», в которой, указывая на неистощимые богатства России и упрекая соотечественников в недостатке предприимчивости, приглашал мелких капиталистов употребить свои сбережения для образования акционерных компаний, которые одни могут вырвать промышленное дело из рук невежественных толстосумов-рутинеров, монополизировавших производительные силы России в свою пользу. Эта статья окончательно установила репутацию Полосатова как ученого и произвела такое впечатление на маленьких капиталистов, что некоторые из них, не имея собственных сбережений, стали воровать таковые у других с единственною целью вручить их специалистам по части разработки недр земли. И это сочинение я прочел, и тоже мне показалось так просто, так просто. Собрав свои сбережения, отдал их какому-нибудь Ивану Ивановичу, и затем гуляй себе да погулявай в Петербурге. Ты гуляешь, а там где-то у чорта на куличках откармливаются на твои деньги бесчисленные стада четвероногих, из которых получается мясо, сало, кожа, рога; из мяса приготавливаются консервы, из сала вырабатываются стеариновые свечи; из кож — обувь, из рогов и костей — клей. А через год у тебя в кармане тридцать процентиков! Да-с! тридцать процентиков! за то только, что ты гулял в Петербурге да последовал приглашению ученого Полосатова!

Но мне все-таки казалось, что Полосатов не более, как гороховый шут, который потому только воспользовался дипломом ученого, что прочая-то культурная братия чересчур уж невежественна. Это убеждение было до того во мне сильно, что когда я, в первый раз после долгой разлуки, встретил его на улице, то, вместо того, чтоб броситься к старому товарищу на шею, я вдруг предложил ему вопрос:

— Послушай, Полосатов, ты, кажется ученый?

— Да, душа моя, — ответил он мне скромно, — то-есть не гелертер, но ученый в хорошем значении этого слова. Ты понимаешь: для нас спасение в одной науке! В на-у-ке! прибавил он строго и с расстановкой.

Я смотрел на него и ничего не понимал.



КАРИКАТУРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АЛЕКОАНДРОВСКОГО ЛИЦЕЯ

Скачет профессор русского языка и словесности П. Е. Георгиевский; бьет в барабан профессор немецкого языка и словесности Ф. А. Де-Олива

Из альбома лицейских карикатур 1839—1841 гг.

Институт Русской Литературы, Ленинград

— Я стою на практической почве,— продолжал он: — я не понимаю немецкого взгляда на науку; по моему мнению, наука прежде всего должна искать применений. Конечно, ты читал мои статьи — их все читали. Но твое мнение для меня особенно важно, потому что ты профан. Я пишу для профанов, понимаешь ли? — для про-фанов!

Последние слова он почти выкричал, и при этом взглянул на меня не то нагло, не то лукаво, так что мне сделалось очень неловко. Но он даже не выждал моего ответа и опять продолжал.

— Главное достоинство моих статей заключается в том, что они затрагивают ближайшие интересы, такие, которые поймет всякий, у кого есть в кармане лишних сто рублей. Эти сто рублей мне нужны, потому, что я хочу их отдать производительности. Я хочу, чтоб на них получилось еще сто рублей. Ты понимаешь? Сто ру-блей!

— Да, мне и самому иногда казалось... пробормотал я, чтоб что-нибудь сказать.

— Да? так ты, значит, читал? Неправда ли, что все очень просто? И многим, как и тебе, это кажется просто! А между тем это совсем не просто... А впрочем, я очень рад, очень рад! Приходи ко мне по средам: у меня собираются ученые... А покуда прощай!

Мы расстались, и я опять потерял его из вида надолго. С тех пор он успел остепениться, и хотя ни одно из его предсказаний не исполнилось, но репутация ученого так и осталась за ним.